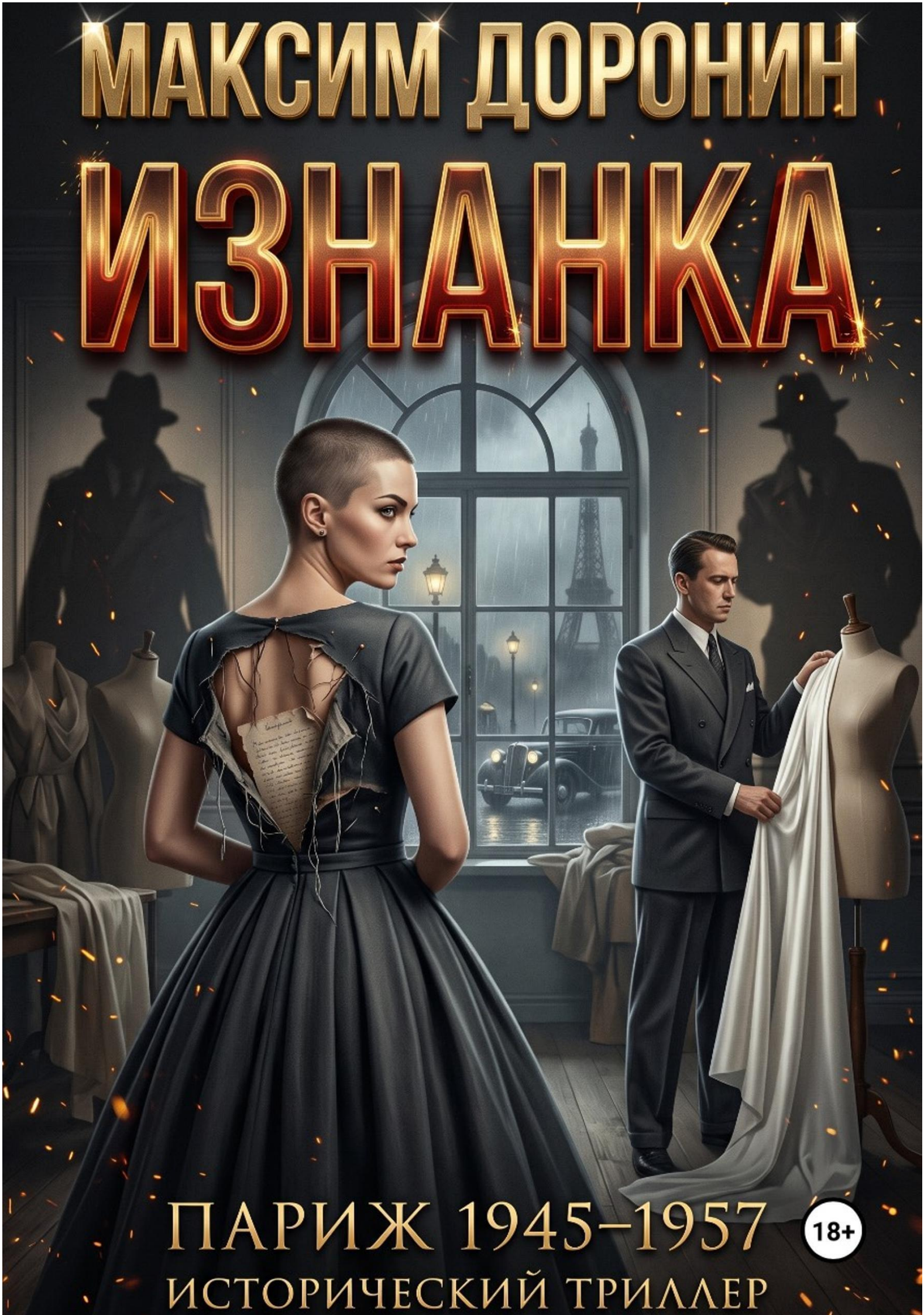
МАКСИМ ДОРОНИН

ИЗНАНКА



ПАРИЖ 1945–1957

18+

ИСТОРИЧЕСКИЙ ТРИЛЛЕР

Максим Доронин

Изнанка

«Автор»
2026

Доронин М.

Изнанка / М. Доронин — «Автор», 2026

1947. Весь Париж аплодирует New Look. За кулисами стоит женщина с обрезанными волосами и чужим дневником в руках. Она знает, кто из клиенток спал с немцами. Она знает, кто предал её. Она знает, что её брат, гениальный модельер, молчал — и продолжает молчать.Одно слово — и его империя рухнет. Но Ева не спешит. Потому что настоящая власть — это не удар. Это тишина, в которой человек ждёт удара.Психологический триллер о красоте, построенной на крови. О ярости, которая не ищет прощения. И о женщине, которая решила, что молчать она больше не будет.

© Доронин М., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Пролог 5
Глава 1. Вокзал д'Орсе 7
Глава 2. Сырное суфле 9
Глава 3. Игла 11
Глава 4. Фасад 13
Конец ознакомительного фрагмента. 15

Максим Доронин
Изнанка

Пролог

Поезд шёл на юг. За окном проплывали поля, ещё не восстановленные после войны: бурые, с пятнами неубранной кукурузы, с редкими фермами, где вместо черепицы на крышах зияли дыры. Я не смотрел в окно. Я смотрел на женщину напротив.

Ей было около сорока. Седые пряди у висков, которые она не пыталась закрасить. Прямая спина, руки сложены на коленях. На ней было простое шерстяное платье, слишком тёплое для октября. Она курила «Житан» одну за другой, и пепел падал на обёрнутую в газету пачку бумаг, которую она держала на коленях, как держат ребёнка или бомбу.

Мы ехали уже два часа. Она молчала. Я тоже.

Потом она сказала:

— Вы ведь пишете. Я вижу. У вас руки писателя.

Я не стал спрашивать, что это значит. Она усмехнулась, коротко, без радости.

— Я не знаю, зачем я вам это рассказываю. — Она затянулась, и дым на секунду скрыл её лицо. — Может, потому что вы не из Парижа. Может, потому что вы не будете судить. Или потому что мне уже всё равно.

Она положила пачку бумаг на столик между нами. Газета развернулась. Я увидел страницы, исписанные мелким почерком, с датами на полях. Некоторые листы были обожжены по краям. Другие — смяты и снова разглажены.

— Это дневник, — сказала она. — Я вела его с сорок пятого. Здесь всё. Имена. Даты. Счета. Кто платил. Кто молчал. Кто шил платья для жён гестаповцев, пока меня держали под водой на рю де ла Помп.

Она замолчала. За окном мелькнул полустанок с разбитым стеклом.

— Я не всё помню, — сказала она тише. — Многое стёрлось. Но это записано. И это правда. Даже если вы что-то придумаете, чтобы связать это вместе, — это будет правда. Потому что иначе не бывает.

Я спросил, как её зовут.

Она посмотрела на меня. Глаза у неё были светлые, почти прозрачные, как у человека, который давно не спал.

— Ева, — сказала она. — Просто Ева. Фамилии в дневнике. Моя вам не нужна.

Поезд замедлил ход. Она поднялась, поправила пальто и вышла в коридор, оставив бумаги на столике. Я не успел спросить, куда она идёт. Я не успел спросить, вернётся ли она.

Она не вернулась.

Я открыл дневник, когда поезд тронулся. Не потому, что мне было любопытно. Потому что она оставила его так, будто хотела, чтобы я прочитал. Будто это было не признание, а передача дела.

Первая страница была датирована маем сорок пятого. Почерк ровный, почти каллиграфический, но с нажимом — таким, что бумага местами продавлена до дыр. Буквы стояли тесно, как люди в очереди за хлебом.

«Я вернулась. Париж пахнет гарью и свежим хлебом. На площади бреют женщин. Толпа кричит. Я смотрю и ничего не чувствую. Брат плакал. Я не плакала. Он сказал: всё будет хорошо. Я не поверила. Я знаю, что он шил для них. Я знаю, что он молчал. Я буду молчать тоже. Но не так, как он».

Я перевернул страницу. Дальше — записи без дат, отрывистые, как удары молотка.

«Он достал грюйер. Настоящий. Я ела руками. Он отвернулся. Я записала его лицо. Не в дневник — в себя».

«Раймонда сказала: твоя правда стоит дешевле кружев. Она права. Пока права».

«Сегодня я воткнула булавку в жену лионского промышленника. На миллиметр глубже, чем нужно. Она не закричала. Она боялась. Я запомнила этот страх. Он был мой».

Я закрыл дневник. За окном уже темнело. Поля сменились лесом, чёрным и мокрым. Я подумал: она оставила мне не историю. Она оставила мне улики.

И тогда я достал свой блокнот. И начал записывать. Не её слова. Свои. То, что я видел. То, что я помнил. То, что я собирался придумать, чтобы связать это вместе. Потому что она была права: иначе не бывает.

Я вышел в Марселе. Она не вышла. Я стоял на перроне с чужим дневником под мышкой и смотрел, как поезд уходит дальше, на юг, к морю. Я не знал, сошла ли она раньше. Я не знал, была ли она вообще. Может, я всё это придумал. Может, дневник я купил на блошином рынке. Может, женщины в поезде не было, а был только стук колёс и мой собственный голос, который я принял за чужой.

Но бумага была настоящей. Чернила выцвели, но не исчезли. Некоторые страницы были обожжены. Некоторые — смяты и снова разглажены. На последней странице, в самом низу, стояла дата: «1957. Монтекатини». И фраза, написанная другим почерком — более слабым, дрожащим:

«Я не прощаю. Я просто устала».

Я сел на вокзальную скамейку. Мимо шли люди с чемоданами. Кто-то смеялся. Кто-то ругался. Никто не смотрел на мужчину с чужим дневником.

Я мог бы отнести его в полицию. Мог бы найти издателя. Мог бы сжечь. Я не сделал ничего из этого. Я просто сидел и думал: если я это опубликую, я предам её. Если не опубликую — предам тех, кто не выжил. Если я придумаю что-то, чтобы связать это вместе, — я солгу. Если не придумаю — я оставлю это набором обрывков.

Я достал блокнот и написал первую фразу. Не её. Свою.

«Она не знала, рассказывать это мне или нет. Мы ехали в купе Москва–Петербург. Я не всё запомнил. Что-то придумал. Но это 100% правда».

Потом я зачеркнул «Москва–Петербург» и написал «Париж–Марсель». Потом зачеркнул и это. Потом закрыл блокнот.

Я до сих пор не знаю, как начать. Но я знаю, что начну. Потому что она оставила мне дневник не для того, чтобы я его хранил. Она оставила его для того, чтобы я его записал.

Глава 1. Вокзал д'Орсе

Железо ударило по железу. Поезд встал.

Вокзал д'Орсе пах карболкой, углем и застоявшейся мочой. Толпа на перроне была слишком громкой, слишком цветной. Ева смотрела на нее через мутное стекло вагона. Красная шляпка. Одна. Прямо перед окном. Она резала глаза, привыкшие за пятнадцать месяцев различать лишь оттенки серого и коричневого.

На ней было чужое пальто. Снятое с мертвой женщины на аппельплаце в Мальхове. Рукава слишком длинные,подол в грязи.

Александр стоял у третьей колонны. Он почти не изменился. Только полысел и стал чуть круглее. На нем был безупречный двубортный костюм. Плотная шерсть, идеальный крой. Ни одной лишней складки.

Он увидел её. Его лицо сломалось.

Он побежал навстречу, но Ева видела: он на полшага отставал от какого-то мужчины в жандармской форме,чтобы не оказаться с ней на одной линии. Он всё ещё прятался. Стыдился. Боялся, что кто-то заметит его рядом с оборванной, грязной заключенной.

Потом он схватил её. От него пахло дорогим одеколоном, хорошим табаком и чистым, сытым телом.

Его плечи тряслись. Он плакал. Громко, навзрыд, утыкаясь лицом в грязный воротник ее чужого пальто. Он пытался закормить свою вину этими слезами. Выплакать всё то время, пока он кроил шелк, а она стояла на аппельплаце.

Ева не плакала. Она стояла прямо. Руки висели вдоль туловища. Она смотрела на безупречный пробор брата и чувствовала только одно: физическую тяжесть. Его рука давила на её ключицу, там, где под кожей почти не осталось мяса.

«Отодвинься, — подумала она. — Мне больно». Но промолчала.

Они вышли на улицу. Париж весны сорок пятого года истерично праздновал собственное выживание. Воздух пах гарью, бензином и свежеиспеченным хлебом.

Площадь перед вокзалом гудела. Александр попытался взять её под руку, но его пальцы наткнулись на острое плечо, и он виновато ослабил хватку. Впереди толпа уплотнилась. Смех, крики, ритмичное улюлюканье.

Женщина сидела на деревянном стуле в центре площади.

Она была красивой. На ней была белая блузка. Тонкая ткань, разорванная у ворота. Мужчина в засаленной кепке стоял у нее за спиной с ножницами и опасной бритвой. Длинная прядь темных волос упала на грязную брусчатку.За ней еще одна.

Толпа ревела.

— Не смотри туда, — Александр шагнул вперед, пытаясь закрыть ей обзор. Его широкая ладонь, пахнущая миндальным мылом, потянулась к ее лицу.

Ева резко отдернула голову. Шагнула ближе.

Женщина на стуле рыдала. Бритва грубо скоблила череп, оставляя красные царапины на белой коже. — Шлюха!Подстилка! — кричала женщина в толпе. — Скажи спасибо, что не расстреляли!

Ева смотрела на бритву. На шелк. На слезы. Она ждала, когда внутри проснется торжество. Справедливость.Удовлетворение. Ничего.

Крики людей вокруг сливались в монотонный гул, а потом и вовсе исчезли. Для Евы площадь стала абсолютно тихой. Вакуум.

«Они бреют ей голову, — думала Ева, глядя, как лезвие скребет по коже. — Но у нее останется ее блузка. У нее останется ее сытое, нетронутое тифом тело. Завтра она придет домой, и ей не придется есть брюкву».

Это было не возмездие. Это был дешевый спектакль для тех, кто всю оккупацию сидел тихо, а теперь требовал крови, чтобы доказать свой патриотизм.

Ева скользнула взглядом по зрителям. Потные, возбужденные лица праведников. Один мужчина стоял чуть в стороне. В сером пиджаке с поднятым воротником. Ева замерла.

Профиль. Одутловатый подбородок. Редкие волосы. Водянистые, вечно бегающие глаза. Сосед по лестничной клетке из Канн. Тот самый, что приносил ей контрабандный кофе в сорок третьем. Тот, чью руку она убрала со своего колена. Тот, кто потом отводил взгляд, когда люди в штатском выводили её из квартиры.

Он стоял здесь, в Париже. Смотрел на обритую женщину, приоткрыв рот от жадного любопытства. Жалкий.Мелкий. Обычный. В нем не было демонического величия зла. Её предал не идейный нацист. Её предал потный,уязвленный мужичок, решивший, что раз она не досталась ему, то пусть не достанется никому.

Он повернул голову. Их взгляды встретились над толпой.

На секунду шум на площади исчез окончательно. Мужичок побледнел. В его водянистых глазах мелькнул животный, липкий страх. Он узнал её. Он понял, что она помнит. И он сломался первым — резко отвёл взгляд,ссутулился и торопливо ввинтился в толпу, сбегая, как побитая собака.

Это не было видением. Он выжил. Они все выжили.

Александр потянул её за рукав. Его пальцы заметно дрожали. Он не смотрел на площадь. Он вообще старался не смотреть на уродство этого мира. — Пойдем, Евочка. Пойдем домой, — его голос срывался. — Я всё приготовил.Всё теперь будет хорошо. Никто тебя больше не тронет.

Ева перевела взгляд на брата. На его идеальный шерстяной костюм. На его чистые, мягкие руки, которые никогда не знали кандалов. Которые шили платья для женщин, похожих на ту, что сейчас рыдала на стуле, — пока другие женщины умирали от дизентерии.

— Да, — сказала Ева. Её голос звучал надтреснуто, сухо, как рвущаяся бумага. — Пойдем.

Она позволила увести себя с площади. Не потому, что ей было страшно. И не потому, что она поверила, будто всё будет хорошо. А потому, что она поняла: настоящая война не закончилась. Она только начиналась. И на этот раз пленных брать будет она.

Ева опустила руку в глубокий карман чужого пальто. Нащупала огрызок карандаша и найденный в поезде обрывок серой бумаги. Не вынимая руки, вслепую, она нацарапала первое имя. Имя соседа из Канн.

Глава 2. Сырное суфле

Тишина в квартире на рю Рояль была плотной, тяжёлой. Она давила на барабанные перепонки сильнее, чем гул толпы на площади. В лагере никогда не было тихо. Тишина означала лишь одно: охрана стоит прямо у тебя за спиной.

Ева сидела за круглым обеденным столом. Под ладонями — накрахмаленная льняная скатерть. Напротив — хрустальный бокал. Всё это казалось ей бутафорией, декорацией к спектаклю, в котором она забыла свои реплики.

С кухни потянуло запахом.

Сливочное масло. Настоящее, животное, плавящееся на раскалённой керамике. Запах ударил под дых с такой силой, что у Евы болезненно свело челюсти. Рот мгновенно наполнился едкой, кислой слюной.

Александр вошёл в столовую, неся перед собой форму для запекания, как дары волхвов. На его лице блуждала напряжённая, почти истерическая улыбка.

— Настоящий, — сказал он, ставя горячую форму на стол. Его голос подрагивал от гордости и страха. — Не синтетика. Из Швейцарии. Евочка, я месяц ждал.

Суфле из грюйера было произведением искусства. Золотистая, хрустящая корочка возвышалась над краями идеальной короной. Оно дышало, источая густой аромат горячего сыра, яиц и мускатного ореха.

Александр положил рядом с её тарелкой тяжёлую серебряную вилку.

Ева посмотрела на неё. Завитушки на ручке. Инициалы. Кусок металла, который нужно деликатно держать тремя пальцами. В Мальхове из-за ржавой жестяной ложки могли проломить череп.

Она не притронулась к серебру.

Ева протянула руку и погрузила пальцы прямо в центр суфле.

Золотистая корочка хрустнула и провалилась. Обжигающий пар ударил в кожу. Температура была невыносимой,но Ева не отдёрнула руку. Боль от ожога отрезвляла. Она выгребла горячую, тягучую массу и отправила её в рот.

Она жевала быстро, механически. Текстура была нежной, как взбитый шёлк. Жир обволакивал нёбо, скользил по горлу. Но вкуса не было. Её рецепторы, сожжённые гнилой брюквой, древесной стружкой и желудочным соком,не воспринимали эту тонкую архитектуру специй. Это была просто горячая, жирная масса.

Она зачерпнула ещё. Сырные нити оборвались. Горячий жир потёк по подбородку. Желудок спазматически сжался, в панике отторгая забытое богатство животного белка, но Ева проглотила силой. Заставила это провалиться внутрь.

Александр сидел напротив.

Ева подняла глаза и увидела его лицо. Улыбка исчезла. Его безупречные черты исказила гримаса. Это была не жалость. Это было физиологическое, нутряное отвращение.

Он смотрел на её жадные, грязные пальцы, на жир на подбородке, на впалые щеки, которые двигались с пугающей скоростью. Она ела руками. Она чавкала. Она не была той изящной сестрой, которую он запомнил и которую так отчаянно хотел накормить.

Александр судорожно сглотнул. Он взял льняную салфетку, прижал её к губам и отвернулся к окну. Он физически не мог на это смотреть. Его эстетика, его мир идеальных пропорций и чистоты рушился о её чавканье.

Ева замерла. Рука с зажатым в ней куском суфле повисла в воздухе.

Она посмотрела на его отведённый профиль. На побелевшие костяшки пальцев, сжимающие салфетку. Он отвернулся от неё сейчас — так же, как отворачивался всю войну. Он всегда выбирал не видеть того, что оскорбляло его вкус.

Голод никуда не делся. Но теперь Ева знала: сколько бы он ни ждал свой швейцарский сыр, он никогда не сможет закормить ту чёрную дыру, которая зияла внутри неё. Она не знала, чего хочет. Но точно не этого. Не его отведённых глаз.

Она разжала пальцы. Кусок суфле шлёпнулся обратно в форму. Ева медленно, с нажимом вытерла жирную руку о скатерть, оставляя на белом льне длинный жёлтый след.

— Спасибо.

Её голос прозвучал ровно, разрезая бархатную тишину. Она встала из-за стола, опустила испачканную руку в карман чужого пальто и кончиками пальцев коснулась деревянного огрызка карандаша.

Глава 3. Игла

Ателье Люсьена Лелона пахло влажным паром, раскалённым металлом и мелом. Этот запах оседал на языке сладковатым крахмалом. Вокруг шуршал шёлк — плотный, тяжёлый, как театральный занавес.

Александр двигался вокруг манекена. Здесь, среди рулонов тафты и россыпи невидимых булавок, он переставал быть виноватым братом и становился богом. Его движения были точными, сухими, безжалостными. Ножницы со свистом вспарывали ткань, отсекая лишнее.

— Мы должны вернуть женщинам талию, Евочка, — он говорил не оборачиваясь, держа во рту две булавки. — Война сделала их квадратными. Острые плечи, короткие юбки, жёсткие лица. Это уродливо. Мы должны заставить их забыть. Спрятать углы. Вернуть им мягкость.

Ева сидела в углу на табурете для подмастерьев. Она смотрела, как белый шёлк струится по безголовому торсу манекена, скрывая его деревянные рёбра.

Выписка из полицейского протокола. Управление гестапо, рю де ла Помп, 93. Июль 1944 года. Субъект: жен., возраст 26 лет. При задержании оказала сопротивление. Первый этап допроса: метод погружения (baignoire). Субъект фиксируется за конечности, голова удерживается под водой до начала рефлекторных судорог, имитирующих утопление. Длительность сессии: 45 минут.

— Посмотри на этот эскиз, — Александр вынул булавки изо рта и протянул ей лист плотной бумаги. — Это называется «Венчик». Ткани нужно много. Очень много ткани. Пятнадцать, двадцать метров на одну юбку. Пусть это возмутительно, пусть они кричат, что это пир во время чумы, но они наденут это. Они захотят задохнуться в этой роскоши.

Ева взяла эскиз. Линии были совершенны. Взмах карандаша создавал женщину-цветок, безмятежную, не знающую ни боли, ни голода.

— Кто это будет носить? — спросила она.

Александр замер. Его рука с булавкой зависла в миллиметре от белого шёлка.

— Женщины, — ответил он мягко, но не глядя ей в глаза. Он сосредоточенно вкалывал металл в ткань. — Просто женщины. Жизнь продолжается. У них есть мужья, у них есть деньги. Красота не имеет политической партии.

Ева смотрела на его профиль. В сорок третьем он точно так же прикалывал шёлк для жён немецких комендантов,пока она передавала шифровки. В сорок четвертом он кроил бархат для любовниц вишистских министров, пока её голову держали в ледяной воде. Он не предавал её лично. Он просто шил.

Второй этап допроса. Применение электрического тока к влажным участкам тела. Субъект не предоставил имен контактов по сети «F2». Отмечены обширные гематомы и термические ожоги. Рекомендована депортация в концентрационный лагерь.

Горячий пар с шипением вырвался из-под тяжёлого утюга на соседнем столе. Удушливый запах жжёной пыли ударил в ноздри. Ева медленно провела кончиками пальцев по нарисованной осиной талии на эскизе.

Брат предлагал ей стать частью этого механизма. Помогать ему прятать под метрами дорогой ткани тех, кто выжил за её счет. Прятать их животный страх, их уродство, их соучастие.

— Мне нужна помощница, которой я могу доверять, — тихо добавил Александр, разглаживая складку на манекене. — Ты умеешь видеть пропорции. Ты знаешь изнанку ремесла. Останься со мной.

Ева опустила руку в карман. Кончики пальцев нащупали огрызок карандаша. Дерево было шершавым, сухим,абсолютно реальным.

Она могла бы развернуться и уйти. Оставить его наедине с его виной и его красотой. Но тогда они победят. Они спрячутся за этими двадцатиметровыми юбками и сделают вид, что ничего не было. Красота станет их абсолютной амнистией.

«Никакой амнистии», — подумала она.

Она достала карандаш и клочок серой бумаги. Положила эскиз брата на колени как планшет.

— Я останусь, — её голос был ровным, лишённым интонаций, как гудение швейной машины.

Она посмотрела на клиентку, вошедшую в авансалон — холеную даму в тяжелых мехах с неестественно громким,нервным смехом, — и аккуратно записала на бумаге её имя, поставив рядом дату.

Счетчик включился.

Глава 4. Фасад

Сначала появлялся запах. Тяжёлый, животный мускус, смешанный с душной туберозой и пеплом дорогих сигарет.Он вползал в ателье, пожирая ароматы горячего утюга и мела, и только потом в дверях появлялась Митца Брикар.

Леопардовый шёлк, жемчуг в несколько рядов, томная, почти ленивая грация. Она не работала. Она была.Александр смотрел на неё с жадным обожанием. Для него она была живым доказательством того, что старости не существует, что беспечность можно купить и навсегда задрапировать тканью. Ева видела это насквозь. Митца была великолепным, дорогим фасадом.

Но фундаментом Дома была другая женщина.

Раймонда Зенакер не носила леопард. Её костюмы кроились с пуританской строгостью военной брони. Если Митца пахла грехом, то Раймонда пахла гроссбухами, свежими чернилами и абсолютным контролем. Она была директором студии. Жрецом, бесстрастно охраняющим алтарь.

В первое утро Евы в авансалоне Раймонда подошла к ней сама. Она не стала, как Александр, стыдливо отводить глаза или фальшиво улыбаться. Её холодный, математический взгляд прошелся по остриженным волосам Евы, по её впалым щекам, по дешёвому прямому платью, которое висело на ключицах, как на вешалке.

— Твой брат чувствует себя виноватым, — голос Раймонды был ровным, без единой модуляции. — Это хорошо.Вина делает его гениальным. Он хочет вымолить у мира прощение за то, что выжил в комфорте.

Ева молчала, глядя прямо в эти немигающие глаза. Раймонда тоже не отвела взгляд. Ни тени жалости.

— Но вина делает людей неосторожными, — продолжила директор студии. — Твоя задача — быть здесь, чтобы он помнил, ради чего старается. Но запомни, девочка. Нам платят за иллюзию. Если твой взгляд будет отпугивать клиенток, если твоя скорбь начнет портить им аппетит — я переведу тебя в подвал, к младшим закройщицам. И мне плевать, чья ты сестра. Твоя правда стоит дешевле этих кружев.

Ева едва заметно кивнула. В мире, где все притворялись, Раймонда была единственной, кто не пытался задрапировать реальность. Ткань дороже крови. Правила игры озвучены.

Возможность сыграть по ним представилась через три дня.

Примерочная. Клиентка стояла на подиуме перед трехстворчатым зеркалом. Жена крупного лионского промышленника, сколотившего состояние на поставках сукна для немецких мундиров. Сейчас она оплачивала это сукно полновесными франками, заказывая платье из переливчатой тафты цвета ночного неба.

Ева стояла на коленях у её ног. Во рту — булавки. В руках — тяжелый подол.

От женщины пахло лавандовым мылом и сытой, спокойной уверенностью. Её кожа была ослепительно белой,мягкой, не тронутой ни вшами, ни чесоткой, ни ледяной водой.

Ева заложила складку. Подняла глаза на зеркало.

Клиентка смотрела на свое отражение. На мгновение её взгляд скользнул вниз, на портниху. И замер.

Ева слишком хорошо помнила это лицо. Площадь Трокадеро. Июль сорок четвертого. Жара плавила асфальт. Еву швырнули на капот черного «ситроена». Эта женщина стояла у входа в кафе, под кружевным зонтиком, под руку с офицером в форме СС. Она смотрела, как Еве выворачивают руки. Она смеялась.

В зеркале примерочной смеха не было. Лицо клиентки медленно, страшно белело. Под слоем дорогой пудры проступил первобытный ужас. Она узнала Еву. Узнала её контуры, потому что тогда, на капоте, Ева смотрела прямо на неё.

Воздух в комнате сгустился. Клиентка перестала дышать. Она боялась пошевелиться. Перед ней на коленях стояло её прошлое. Одно слово Евы — и эта ухоженная голова завтра будет обрита на площади под улюлюканье толпы.

Ева почувствовала абсолютную, пьянящую власть. Ей не нужно было кричать. Ей не нужно было звать полицию.Страх этой женщины принадлежал ей одной.

Ева достала булавку изо рта. Медленно, не разрывая зрительного контакта в отражении зеркала, она проткнула тафту. На миллиметр ближе, чем требовал шов. Острое стальное жало глубоко царапнуло мягкую белую кожу лодыжки.

Мизерная капля крови выступила на бледной ноге.

Клиентка дернулась, судорожно втянув воздух, но не издала ни звука. Она не смела жаловаться. Она приняла эту боль как крошечный, жалкий откуп.

Чья-то сухая рука мягко, но непреклонно перехватила запястье Евы.

— Какая нелепая оплошность. Простите нашу мастерицу, мадам, — голос Раймонды лился патокой, но пальцы,сжимавшие руку Евы, были железными. — Девушка ещё не привыкла к такому деликатному шёлку. Я сама закончу линию низа.

Клиентка мелко закивала, поспешно отводя затравленный взгляд от Евы.

Раймонда дождалась, пока за лионской мадам закроется тяжелая дверь. Она вытерла лодыжку манекена и пол лоскутом технической ткани, затем медленно повернулась к Еве. В её глазах не было гнева. Только холодный,бухгалтерский расчет.

— Ты испортила складку, — сказала Раймонда, бросая испачканный лоскут в мусорную корзину. — Кровь не отстирывается от тафты. Хочешь мстить — мсти так, чтобы не пострадал шёлк. Еще одна испорченная вещь, Ева,и ты окажешься на улице.

Раймонда вышла, оставив Еву на коленях посреди примерочной.

Ева поднялась. Она достала из кармана серый блокнот, вытерла кончик карандаша о подол своего платья и методично, букву за буквой, вписала имя лионской мадам на первую страницу.

Изнанка начала обретать форму.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.